

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЗВЁЗД



ЭДУАРД СЕРОУСОВ

Эдуард Сероусов

Колыбельная звезд

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Колыбельная звезд / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Терра Нова — идеальная, гиперпродуктивная планета. Пышная растительная жизнь, чистая атмосфера, ни одной генетической мутации. И полное молчание: ни насекомого, ни птицы, ни отклика. За четыре миллиарда лет местная эволюция здесь так и не переступила невидимой черты, за которой начинается разум. Экипаж «Ишвары», пять человек, находит в горах древний кристалл-запись погибшей цивилизации. Голос из камня умоляет: «Не будите колыбель». Ксенобиолог Хасан слышит в этом суеверие. Капитан Немов, пять лет назад по служебному протоколу отказавшийся спасти свою умирающую дочь, слышит совсем другое. Между ними — старая рана, чужой рубильник и полдня до решения, за которое заплатит всё человечество, если ошибётся один.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Немой мир	5
Часть 2. Колыбель	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Эдуард Сероусов

Колыбельная звезд

Часть 1. Немой мир

Первое, что замечаешь на Терра Нове, — не что здесь есть, а чего нет.

Немов стоял на склоне, заросшем чем-то средним между мхом и папоротником, и слушал. Ветер шёл по долине длинными плавными валами, гнул сизую поросль от гребня к гребню — и не издавал ни звука, потому что здесь нечему было отзываться. Ни птицы. Ни насекомого. Ни шороха мелкой твари в подлеске. Живой мир молчал так, как молчит только мёртвый, и это несовпадение — буйство жизни и полная её немота — держало его в напряжении третьей сутки подряд. Он ловил себя на том, что задерживает дыхание, будто боясь спугнуть тишину, будто в ней вот-вот что-то шевельнётся.

Ничего не шевелилось. В том и была беда.

— Ты опять слушаешь пустоту, — сказала Хасан.

Она сидела на корточках в трёх метрах, у обнажения породы, и заводила пинцетом тонкий срез в анализатор. Волосы выбились из-под капюшона; она заправила их за ухо быстрым резким движением — тем самым, по которому он всегда узнавал, что она увлечена и сейчас скажет что-нибудь, с чем он не согласится.

— Я слушаю, чего тут не хватает, — сказал он.

— Тебе всегда чего-то не хватает.

Анализатор пискнул. Она глянула на строку данных, и лицо у неё сделалось такое, какого он не видел годами: открытое, жадное, забывшее держать дистанцию. За пять лет он привык к другому её лицу — закрытому, вежливому, отвёрнутому. Это было большее видеть, чем то.

— Саша. Иди сюда. Ты должен это видеть.

Он не любил, когда она звала его так на выходе — при включённых микрофонах, при экипаже на канале. Имя тянуло за собой всё остальное: кухню, где они перестали разговаривать; коридор больницы с запахом хлорки; дверь, за которой всё кончилось. Он подошёл, вдавлив на ходу ноготь большого пальца в подушечку среднего — коротко, до тупой боли. Привычка. Способ убедиться, что руки ещё слушаются, что он ещё здесь, что он ещё он.

На экране разворачивалась цепь. Белок — но не белок; что-то, свёрнутое чище любого известного ему белка, экономнее, будто над ним долго и терпеливо работали.

— Это структурный полимер клеточной стенки, — сказала Хасан. — У примитивного мха. Ты понимаешь, что это значит?

— Скажи ты. Ты биолог.

— Это значит, что здесь нет ошибок. — Она подняла на него глаза. — Три дня я беру образцы. Мхи, микробы, эта поросль. И ни одной поломки. Ни одного мусорного гена, ни одной паразитной вставки, ни одной опухоли. Жизнь, которая не воюет сама с собой. — Она помолчала, и голос её на секунду потерял научную ровность. — Соня прожила бы здесь до ста лет.

Ветер прошёл по долине без звука. Немов смотрел на цепь на экране и молчал. Под перчаткой, в стерильном тепле скафандра, у него вспотела ладонь.

— Не надо, — сказал он наконец.

— Я просто говорю, что это за место.

— Ты не просто говоришь.

Она отвернулась к анализатору. Пальцы у неё дрогнули — она снова заправила за ухо волосы, которые уже были заправлены, и он понял, что задел, и понял, что она знает, что он

понял, и оба сделали вид, что нет. Так они разговаривали теперь: короткими выпадами, за которыми — годы недосказанного.

Он поднял взгляд на долину, чтобы не смотреть на неё. Идеальный мир. Мягкий свет сквозь высокую облачность, сизые холмы до самого края, блеск воды где-то внизу — и над всем этим тишина, от которой сводило затылок.

Слишком хорошо. За двадцать лет службы он усвоил простое правило: если система выглядит идеальной, значит, ты просто ещё не видишь, чем за это платят.

Платили немотой.

Это Хасан сформулировала первой — вечером того же дня, в жилом модуле, развернув на общем экране трёхмерное древо здешней жизни. Оно ветвилось пышно у основания и обрывалось везде наверху, будто кто-то провёл над планетой невидимым ножом на строго определённой высоте и всё, что тянулось выше, срезал.

— Смотри. — Она вела пальцем вверх по стволу; линии разбегались под её рукой, множились, дробились. — Разнообразие колоссальное. Продуктивность зашкаливает. А потом — стоп. Никто не перешёл черту. Ни нервной системы сложнее диффузной сети. Ни намёка на централизацию. Ни на одной ветке — за миллиарды лет.

— Может, не успели, — сказал он.

— За четыре миллиарда лет? На Земле за это время из бактерии вышли мы. — Она качнула головой. — Тут не «не успели». Тут «не смогли». Эволюция упёрлась в потолок. В невидимый потолок, Александр. Как будто ей запретили думать.

— Кто запретил?

— Вот это, — сказала она тихо, не отрывая взгляда от срезанного древа, — самый интересный вопрос из всех, что я задавала за свою жизнь.

Он смотрел на обрубленные ветви и чувствовал, как под ложечкой поворачивается тот же холод, что и на склоне. Хасан видела в этом мире чудо. Он видел клетку — просторную, светлую, с идеальным климатом, но клетку. Разница между ними всегда была в этом. И однажды эта разница стоила им ребёнка.

— След, — сказал он, чтобы уйти от древа. — На склоне. Твой сканер что-то поймал под конец.

— А. — Она махнула рукой. — Артефакт. Слабый сигнал в диапазоне, где сигнала быть не должно. Ниже нейронного порога, у самого дна. Прибор ловит его пятнами и теряет. Скорее всего, наводка от нашей же аппаратуры.

— Скорее всего.

— Ты хочешь сказать — проверь.

— Я хочу сказать — проверь.

Она посмотрела на него долгим взглядом, в котором были и раздражение, и что-то похожее на прежнюю усталую нежность, и молча записала в планшет.

— Ты не изменился, — сказала она. — Всё та же осторожность.

Он не ответил. В его словаре у слова «осторожность» был теперь другой вес, чем у неё. Для неё это была черта характера. Для него — приговор, который он подписал пять лет назад, в кабинете с белыми стенами, поставив галочку в строке «отказ от экспериментального протокола».

Корабль назывался «Ишвара» — имя выбрали ещё на Земле, в кабинетах, где любили красивые слова о вселенском разуме. Немов тогда пожал плечами: пусть. Теперь, шагая по спице к центральному узлу, придерживаясь за холодные скобы поручней, он ловил себя на том,

что имя ему не нравится. Слишком торжественное для консервной банки на двенадцать душ, из которых живых осталось пять.

В медотсеке горел свет. Мара Восс сидела перед экраном диагностики, подперев голову, и не сразу его заметила. Под глазами у неё лежали тени такой глубины, что казались синяками.

— Не спится? — спросил он.

— Спитя прекрасно, капитан. Часа по три. — Она потёрла запястье привычным движением, будто грела старую боль. — Я уже забыла, каково это — спать по-настоящему. Лет шесть, наверное.

— Что показывают образцы крови?

— У всех норма. Слишком норма. — Она усмехнулась, не поднимая головы. — Хасан бы понравилось. Даже у Кестлера печень как у младенца, а он гонит синтетический спирт из системы охлаждения и думает, я не знаю.

За переборкой раздался мерный металлический стук. Немов знал этот звук: Иона Кестлер шёл по кораблю, ведя гаечным ключом по заклёпкам, и считал их вслух, себе под нос, — сорок семь, сорок восемь. Привычка старого монтажника: держать руки и голову занятыми, чтобы не думать о том, что снаружи — вакуум толщиной в световые годы.

Из рубки долетал другой звук — Тео Ннамди напевал. Он всегда напевал, без слов, что-то тёплое и домашнее, отбивая ритм пальцами по консоли.

Пять человек в железной скорлупе на краю известного. Каждый держался за своё: Восс — за чужую боль, чтобы не чувствовать своей; Кестлер — за счёт; Ннамди — за мелодию и мысль о доме. Немов держался за протокол. Это было единственное, что у него осталось, — свод правил, по которым в хаосе можно отличить верное от неверного. Правила его один раз уже подвели. Но без них он не знал, как жить дальше.

— Капитан, — сказала Восс ему в спину, — можно вопрос не по службе?

— Нет, — сказал он и вышел.

Он услышал, как она тихо рассмеялась — не обиженно. Мара умела не обижаться. Из всех она была самой доброй, и он иногда думал, что доброта — это то, что остаётся, когда человек выжал из себя всё остальное. Он не знал ещё, что через несколько дней именно её доброта станет самым страшным доводом против него.

Структуры нашли на четвёртый день, в горах на северо-западе.

Их выдал не сканер, а глаз: слишком прямые линии на слишком старом склоне. Издали — просто скалы. Вблизи — стены, обточенные ветром и временем почти до неузнаваемости, но всё ещё стены, всё ещё сложенные разумной рукой. Или тем, что было у здешних вместо рук.

Хасан вышла из вездехода первой и пошла к провалу в породе, не оглядываясь.

— Лейла. — Немов нагнал её. — Стой. Мы не знаем, что там.

— Именно поэтому я туда иду.

— Мы не знаем, устойчивы ли своды. Не знаем состав воздуха внутри. Не знаем...

— Мы ничего не знаем, Александр, в этом весь смысл! — Она развернулась к нему, и в голосе прорвалось то, чего она обычно не показывала при работе. — Мы прошли шесть световых лет не для того, чтобы стоять у входа и мерить радиацию. Здесь была цивилизация. Разумная. Первая, кроме нас, за всю историю. И ты предлагаешь мне подождать, пока комиссия составит регламент?

— Я предлагаю не входить в незнакомую пещеру в одиночку.

— Так войди со мной.

Они стояли у чёрного провала, дыша в масках, и между ними висело всё, чего они не сказали за пять лет. Он смотрел на неё и видел ту, что когда-то тащила его за руку в приёмный покой, крича, что нужно пробовать всё, любой шанс, что нельзя ждать. И себя видел — того,

кто прочитал вероятности, прочитал протокол и сказал «нет». Девочка умерла через одиннадцать дней. С тех пор он не мог смотреть на дверь, за которой темно, и не думать о том, что за ней.

— Хорошо, — сказал он. — Вместе.

Провал вёл вниз. Луч фонаря выхватил ступени — оплывшие, будто восковые, стёсанные не ногами, а самим временем. Воздух внутри был неподвижен и сух; анализатор на запястье мигнул зелёным — дышать можно, — но Немов всё равно не снял маску. Стены смыкались, потолок опускался, и звук их шагов возвращался странным плоским эхом, будто камень глотал половину.

На стенах были знаки.

Он не сразу понял, что это. Провёл лучом — и по всему коридору, от пола до свода, расходились линии: концентрические, накладывающиеся, перетекающие друг в друга контуры, целые поля волн, застывших в камне. Будто кто-то тысячи лет назад упрямо, снова и снова, пытался нарисовать звук. Или предупредить о нём.

— Это не письмо, — тихо сказала Хасан, ведя ладонью в перчатке по резьбе. — Смотри, как они повторяются. Расходятся из точек. Это... волны. Колебания. — Она остановилась. — Кто-то очень хотел, чтобы это запомнили.

Коридор ещё сузился, заставил их идти гуськом, а потом внезапно распахнулся — и оборвался круглым залом. Немов вскинул фонарь. Свод уходил вверх, теряясь во тьме; стены сплошь были покрыты той же резьбой, только гуще, плотнее, будто здесь она вскипала. А в центре, на низком возвышении, стоял предмет.

Кристаллический. Гранёный. Размером с человека. И внутри него, в глубине граней, что-то теплилось — слабый ровный свет, у которого не могло быть источника, потому что здесь давно, эоны назад, не осталось ни энергии, ни того, кто её питал.

Планшет Хасан ожил сам собой. Она поднесла его к глазам — и Немов увидел, как краска сходит с её лица, даже в оранжевом свете фонаря.

— Тот же сигнал, — сказала она. Голос у неё сел. — Со склона. Тот, что «наводка». Он идёт отсюда. Из этой штуки. — Она подняла на него глаза. — И он не слабый, Александр. Он приглушённый. Кто-то очень старался, чтобы он был слабым.

В зале стояла та же немая тишина, что и наверху, только гуще, старше, терпеливее. Немов смотрел на тёплый свет в глубине кристалла, и ему казалось — свет смотрит в ответ. Он вдавил ноготь в подушечку пальца.

Боль пришла. Пока ещё приходила.

Часть 2. Колыбель

Кристалл заговорил на третий день расшифровки — и Немов пожалел, что они его услышали.

Хасан с Ннамди двое суток гоняли сигнал через переводческую матрицу. Сначала тот сопротивлялся — рассыпался бессмыслицей, набором частот, — а потом машина нащупала опору: структуру, ритм, повтор. То, что теплилось внутри граней, оказалось записью. Не текстом — присутствием. И когда матрица собрала первый связный образ, над возвышением в зале поднялась фигура.

Она была из света и не держалась. Мерцала, распадалась, собиралась снова — вытянутая, гуманоидная, с чертами, которые мозг Немова упрямо достраивал до лица и всякий раз ошибался. Хуже всего был рассинхрон: губы фигуры двигались, а слова матрицы приходили с запозданием, так что казалось — говорят двое, и один отстаёт от другого на полдыхания. Будто даже здесь, в записи, единое «я» уже надломилось надвое.

Под всем этим тянулся один долгий тон. Ровный, низкий, на самом пороге слышимого. Немов поймал себя на том, что вслушивается в него против воли — как вслушиваешься в звон в ушах, пытаясь понять, откуда он.

— Я — Ишвара, — сказала фигура голосом, который матрица собрала из ничего. — Последняя, кто помнит, как это было — быть одной.

Немов и Хасан переглянулись. Совпадение имени с именем корабля повисло в холодном воздухе, и ни один не решился его назвать вслух.

Дальше запись пошла кусками. Матрица теряла и находила смысл, и история складывалась, как складывается разбитое: осколок к осколку, с чёрными провалами между ними.

Их было много. Народ, чьи умы соединялись напрямую — не словом, не знаком, а как соединяются капли, слившись в воду. Одна мысль текла сквозь всех. Не было лжи, потому что нечем было лгать. Не было одиночества, потому что не было отдельных. Они называли это не связью. Они называли это «быть».

— Оно пришло не извне, — говорила Ишвара, и матрица цеплялась за каждое слово, роняя одно из трёх. — Оно родилось из нас самих. Из узора, который мы носили в себе и не знали. Песня. Сначала — красивая. Мы думали, это мы поём.

Немов слушал, как разворачивается конец целого мира, и не мог отвести глаз от мерцающей фигуры. Песня росла в общей сети, как трещина в стекле, — медленно, тонко, неудержимо. Умы, соединённые ради полноты, оказались единой средой, по которой она текла без всякой преграды. Те, кто слышал её первыми, менялись: становились спокойнее, светлее, дальше от боли и ближе к чему-то, чего оставшиеся живые не умели назвать. За спокойствием шло растворение. За растворением — тишина.

Матрица дала образ — грубый, собранный из обломков смысла: множество огней, гаснущих один за другим, пока не остаётся тьма с единственной искрой посередине.

— Мы не смогли её убить, — сказала фигура, и голос её на миг собрался, стал почти цельным. — Убить можно тело. У неё нет тела. Есть только узор — и среда, где он держится. Тогда мы сделали единственное, что могли.

Новая схема. Планетарное поле — то самое, из которого их вид вырастил своё «быть». Они научились его глушить. Придавливать ниже черты, за которой мысль вообще становится возможной. Уплотнять среду, пока узор не рассыплется в шум.

Ценой была немота.

Немов смотрел на эту часть записи дольше всего. Мир, где больше нельзя думать. Где жизнь останется — мох, поросль, слизь в тёплых морях, — но никогда, ни на одной ветке, ни за какие зоны не поднимется до разума. Потому что разум — это и есть та среда, в которой снова

проснётся песня. Они не просто вымерли. Они добровольно отняли у собственной планеты будущее — чтобы будущее не досталось тому, что в ней спало.

— Мы усыпили колыбель вместе с тем, что в ней спит, — сказала Ишвара. Фигура почти собралась; на миг Немову показалось, что он видит глаза — усталые, огромные, полные тысячелетнего одиночества. — Я осталась последней. Достаточно отдельной, чтобы навести карантин. Достаточно живой, чтобы это записать. Скоро замолчу и я.

Тон под её голосом поднялся, налился.

— Оно не мёртвое, — сказала она. — Оно спит. И оно поёт. — Пауза, которую матрица не выдумала: она была в самой записи, в этом тысячелетнем молчании между словами. — Не будите колыбель.

Фигура погасла. Свет в глубине кристалла подобрался, притух. В зале остался только ровный приглушённый тон — и Немов вдруг понял, что слышит его с той самой минуты, как они вошли, просто не позволял себе заметить.

Рядом Хасан выдохнула — медленно, будто выныривая. И в глазах её был не ужас. В них было любопытство.

Спор начался в вездеходе и не кончился к кораблю.

— Ты понимаешь, что мы нашли? — Хасан не могла усидеть, оборачивалась к нему с переднего сиденья, и глаза у неё горели. — Не руины. Не могилу. Мы нашли преступление. Самое масштабное в истории — и они совершили его над собственной планетой.

— Они защищались.

— Они сделали лоботомию целому миру, Александр! Выжгли способность мыслить у всего живого на четыре миллиарда лет вперёд — из страха. Из суеверного, паникёрского страха перед тем, чего толком не поняли.

— Ты слышала то же, что и я. Их вид вымер. Все до одного.

— Я слышала испуганную женщину, которая осталась одна над развалинами и записала легенду о демоне в песне. — Хасан отбросила волосы. — Ты правда думаешь, что мысль — это болезнь? Что разум сам по себе смертелен? Это не наука. Это проклятие из сказки. «Не будите колыбель». Они не поняли собственную технологию — вот и всё. Приняли собственный коллективный психоз за внешнего врага и замуровали планету на четыре миллиарда лет.

— А если поняли?

— Тогда покажи мне это. — Она развернулась к нему всем корпусом. — Покажи угрозу. Приборы три дня в этом зале. Что они видят?

Немов молчал. Вездеход трясло на камнях; за стеклом плыли сизые холмы.

— Я скажу, что они видят, — продолжала она тише. — Слабый затухающий сигнал у самого дна диапазона. Реликт. Эхо мёртвого поля. Ни роста, ни структуры, ни признаков чего-либо живого. Тысячи лет — ничего. Мы можем вернуть этому миру то, что у него отняли. Возможность подняться. Возможность думать. А ты хочешь оставить всё как есть — из-за предсмертного бреда последней жрицы.

За рулём сидел Кестлер и делал вид, что его тут нет. Но когда машина вкатилась под корабль и шлюз с шипением сомкнулся, он бросил через плечо, не глядя:

— Если кому интересно техническое. — Он вытер руки ветошью, оставляя на ней чёрные полосы. — Их управляющая решётка ещё жива. Я подцепился к ней с наших систем, пока вы там слушали покойницу. Канал двусторонний. Прописал обратную команду — заглушить поле назад, если что, прямо отсюда, с борта, одним нажатием. Так что бояться нечего: рубильник у нас в руках. — Он помолчал, взвешивая ключ в ладони. — Я бы, правда, к чужим рубильникам вообще не лез. Но меня не спрашивают.

Хасан посмотрела на Немова.

— Вот, — сказала она. — Слышал? Обратимо. В любую секунду обратно. Мы не разрушаем — мы пробуем. Как учёные, а не как трусы.

Слово упало между ними и легло.

Она не хотела его произносить — он видел. Но произнесла.

Ночью он не спал. Достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист — детский рисунок, протёртый на сгибах почти до дыр. Дом, три палочки-человечка, солнце с лучами во все стороны и над ним — кривые звёзды, много, целое небо. Соня рисовала звёзды всегда. Она засыпала тяжело, боялась темноты, и он придумал ей колыбельную — глупую, свою, про то, как ночью укладываются спать не только дети.

Он не пел её пять лет. Слова пришли сами, беззвучно, одними губами.

Спит гора, и спит река, / спать и звёздам — свысока. / Гасят окна, гасят свет — / спи, малыши, и звёзд уж нет.

Он сложил рисунок и убрал в карман, к сердцу. Вдавил ноготь в палец.

Хасан была права в одном: приборы не видели угрозы. Три дня — ничего. Немов доверял приборам больше, чем чувствам; чувства его подводили, приборы — почти никогда. Всё, что стояло против деактивации, сводилось к голосу мёртвой женщины и к его собственному нутру, которое сводило от тишины. А нутро он давно научился не слушать. В прошлый раз он послушал вероятности вместо нутра — и был прав по всем расчётам, и девочка всё равно умерла, и он так и не узнал, спасло бы её то лечение или убило быстрее.

Но он запомнил другое. Он запомнил лицо Лейлы в ту минуту, когда сказал «нет». Как что-то в ней закрылось — навсегда, как потом оказалось. Он выбрал правило. Он всегда выбирал правило. И правило не спасло никого — только развело их по разные стороны двери.

Здесь правило говорило: не трогай неизвестное. Оставь как есть.

А Лейла стояла по ту сторону и снова просила его сказать «да».

Он лежал в темноте и понимал, что впервые за пять лет у него есть шанс не быть тем, кто сказал «нет». Что если он согласится — может быть, вернётся хоть что-то из того, что он тогда в ней закрыл. И понимал, что думает не как капитан. И не мог заставить себя думать иначе.

К утру он решил.

Деактивацию назначили на полдень по корабельному.

Собрались в рубке. Кестлер вывел на главный экран интерфейс решётки — чужую геометрию, которую матрица кое-как переложила в понятные команды: ползунок подавления, шкала, отклик. Ннамди перестал напевать; в наступившей тишине это было заметнее, чем сам напев, — будто из комнаты вынесли что-то живое. Восс стояла у двери, обхватив себя за локти, и тени под её глазами казались в рабочем свете почти чёрными. Хасан сидела у пульта, и руки у неё чуть дрожали — не от страха, от нетерпения; она то сжимала, то разжимала пальцы.

Немов обвёл их взглядом. Пятеро. Всё, что осталось от экипажа. Всё, что стоит сейчас между этой планетой и тем, что она с собой сделала.

— Последний раз спрашиваю, — сказал он. Не для протокола — для себя. — Мы уверены?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.